

Х. С. Саркисян

**Микаэл Налбандян—критик некоторых реакционных сторон
гегелевской философии**

Вредна и неправа такая национальность, которая все приносит в жертву себе; это не национальность, а слепой фанатизм, не имеющий основания и проявляющийся в человеке, как страсть. Такая национальность, какая бы она ни была яростная и как бы она ни неистовствовала, время сотрет ее...

Микаэл Налбандян

В 1863 году крупнейший армянский мыслитель-публицист Микаэл Налбандян, современник Н. Чернышевского и Н. Добролюбова, близкий друг А. Герцена, сидя в Петропавловской крепости по обвинению в связи с „Лондонскими пропагандистами“, набросал свою знаменитую статью „Гегель и его время“ (Микаэл Налбандян—Избранные сочинения, на русском языке, Ереван, 1941, стр. 215—246). Разносторонней содержательностью своей мысли, глубиной своей критики, своим пафосом искания социальной правды Микаэл Налбандян предстает перед нами подлинным шестидесятником, впитавшим в себя великие идеи классической русской философии.

„По существу достоинство человека заключается в безграничной свободе его мысли; если и она будет попираема тем или иным авторитетом или системой, в чем же тогда прелесть человеческого достоинства?“ (226)—так говорит Налбандян, и вся его критика гегелевской философии дышет именно этой „прелестью человеческого достоинства“—безграничной свободой мысли.

В своих суждениях он совершенно самостоятелен. Он не раболепствует перед системами немецкого идеализма, а относится к ним независимо, критически, подчас гневно-иронически.

Налбандян—яркий враг всякой догматики: „Философия одной и той же нации—говорит он—не может быть правильной на все времена даже для самой этой нации, потому что время бежит вперед, сумма понятий видоизменяется. Эй, слушай, ведь ты же не немец и живешь спустя сто лет после Канта, как же тебе может помочь Кант или Гегель, если смысл твоих изысканий заключается в том, чтобы применить их системы к твоей нации“ (222).

Налбандян, принимая прогрессивные стороны гегелевской фи-

лософии, решительно отвергает ее консерватизм. Он ополчается против мысли об универсальности гегелевской философии, о безоговорочной применимости ее к жизни всех народов, к жизни самого немецкого народа на различных этапах его исторического бытия. И начиная свою статью следующей выпиской из „Философии права“ Гегеля: „Всякая философия есть не что иное, как ее время, переведенное в мысли, и безумно думать, что какая-нибудь философия выходит за пределы современного ей мира“ (215)—Налбандян немного далее направляет острие слов немецкого философа-идеалиста против него-же самого: „Но оказывается,—говорит Налбандян,—что положение Гегеля воздействует и на его философию, время которой уже прошло, почему и она может рассматриваться как результат прошлой жизни...“ (217).

Рассматривая гегелевскую философию в историческом аспекте, принимая ее как „результат прошлой жизни“, зоркий взгляд Налбандяна подметил ее половинчатость, противоречивость между ее диалектическим методом и утверждением, что в лице немецкого народа, в германском духе абсолютная идея завершила свое развитие и вернулась к самой себе. „Философия, даже при проповеди свободы,—говорит Налбандян,—если она категорически признает стиль и систему своего учения неопровержимым и не подлежащим оспариванию, уже является врагом свободы, уже губит сама себя“ (223—4).

Налбандян еще раз подчеркивает, что „время бежит вперед, сумма понятий видоизменяется“, и что „поток жизни человечества“ неизмерим. Вместе с классиками русской философии, вместе с Белинским, Герценом, Чернышевским и Добролюбовым Налбандян глубоко верил в безграничную мощь разума, в бесконечные возможности познавательной способности человека, в прогресс науки. „Мы утверждаем,—говорит Налбандян,—что науки, человеческая жизнь, время, т. е. сумма понятий—все это движется и течет и нельзя философию излагать в каком-то неизменном своде. Прочти эти философии, чтобы изучить историю философии и суметь провести параллель между прошедшим и настоящим, увидеть и обсудить—каким образом круг человеческого познания ступень за ступенью все более и более расширяется“ (225).

Критика Налбандяна не ограничивается лишь гегелевской философией, а перерастает в критику немецких идеалистических систем вообще. „Время философских систем прошло,—говорит Налбандян, подразумевая под „философскими системами“ идеалистические философские системы,—ныне время критики; само крушение системы—уже большая и величественная система, хотя она, подобно потерпевшим крушение системам, не имеет глав, параграфов и категорий“ (217).

Отметив метафизическую сущность немецких идеалистических систем, Налбандян считает эту метафизику тормозом исторического

прогресса, препятствием в поступательном ходе развития человечества. „Так их много и так они густы, эти проклятые системы,— говорит Налбандян,— что человеку они закрывают путь, и лишь по мере того как человек приходит к сознанию, постепенно разрушая их, он открывает себе путь“ (227).

Налбандян пользуется каждым удобным случаем, чтобы выпятить действительность и на фоне богатства действительности подчеркнуть бедность идеалистической метафизики, скудость ее содержания, бескровность ее абстракций, их немощь в разрешении каких-либо вопросов практической жизни.

„Поразительно, как не хотят понять,—говорит Налбандян,—что форма с некоторыми недостатками, но применимая, намного предпочтительнее формы и идеально-совершенной, но абсолютно неприменимой. Идея, допустим, прекрасная, но какая от нее польза, раз ты не можешь ее воплотить в жизнь, не можешь применить. Но не следует забывать, что это—точка падения немецкой философии, находящейся в плену у голой идеи. Я ем невкусную пищу, философу она не нравится, в своем уме он имеет идею более вкусной пищи и говорит, что по крайней мере в теоретическом отношении он прав, когда ему мой обед не нравится. Ну и подышайте с голоду!“ (233). Невольно вспоминаются слова Пушкина в письме к А. А. Дельвигу: „Ты пеняешь мне... за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее“.

Эти слова Налбандяна вырываются с его уст в связи с критикой Гегелем английских политических учреждений и, наоборот, превознесением философом-идеалистом прусской монархической государственности. В Пруссии, говорит Гегель, „уже совершен труд, который Англии еще предстоит совершить: глубокий ум и любовь к истине прусских государей, равно как и многовековой труд наукообразного просвещения уже осуществили то, что не могли дать английскому народу его представители“ (242).

Рассуждения Гегеля, его восхваления и гимны прусскому реакционно-деспотическому строю вызывают справедливый гнев Налбандяна, и узник Петропавловской крепости, обвиняя официального философа Прусского государства в молодухии и в бюрократизме, едко замечает, что его бюрократический желудок никак не в состоянии переварить английскую конституцию. „В настоящее время—говорит Налбандян—Англия со своими осужденными формами правления занимает в Европе первое место в отношении свободы, и англичанин по справедливости может гордиться своей свободой, в то время как другие, в особенности жалкие и несчастные немцы, по горло в грязи, умирают от зависти, и им даже Англия не нравится. Послушай! Ты бы добился свободы, подобной английской, а потом заговорил, а? Погляди ка на его аппетиты!“ (233).

Однако, негодование Налбандяна по поводу бюргерско-самодовольных рассуждений Гегеля столь велико, что он, спустя несколько

страниц, с той же страстностью возвращается к этой теме. „...Критикуя английские учреждения, как можно остановиться только на их недостатках, оставив в стороне другие, имеющие глубокие корни и спасительные положения, на основе которых растет та свобода англичанина, которой он по праву гордится. Кроме того, хотя бы их осудил человек, подчиняющийся более свободным и более благородным учреждениям. Дело доходит до комизма, когда против английских учреждений ополчаются немцы, политически раздробленные, абсолютно не знающие реальной человеческой жизни и рабы блуждающих идей, в то время как один лишь Habeas corpus, оставив в стороне все остальное, имеет цену, равную всей Германии“ (237—8). Не трудно заметить, как эта критика перекликается со словами Белинского: „Германия—государство позорное...“.

Критикуя Гегеля, его реакционную политическую концепцию, обвиняя его в том, что он видит спасение „в выкованных деспотическими фридрихами цепях“ (237), утверждая, что там, где „вершителями являются фридрихи... человеческое общество низводится до состояния несовершеннолетних сирот“ (237), Налбандян отнюдь не идеализирует английские политические порядки. Он констатирует только, что по сравнению с деспотически-полицейским строем Пруссии английские демократические свободы являются большим прогрессом. „Кому неизвестно,—говорит Налбандян,—что английская конституция отнюдь не дошла до своего высшего совершенства“ (237). За развитой системой английской свободы Налбандян ясно видит и то, что вершителями дел в Англии являются, по его терминологии, высшие и средние классы, т. е. аристократия и буржуазия, а низшие классы, народ, остается в стороне, и то, что Англия разъедаема социальными противоречиями и бедствиями, и то, что там царствует „страшная нищета“ (241).

„Экономическое порабощение в Англии ужасно“ (146), говорит Налбандян в другой своей работе—„Земледелие как верный путь“, изданной в Париже в 1862 году. В этом своем замечательном труде Налбандян раскрывает противоречия английской действительности с большой силой и глубиной. Утверждая, что „государство—не народ и интересы государства не имеют никакого отношения к интересам народа до тех пор, пока структура государства такова, как сегодня“, Налбандян развенчивает глубоко укоренившийся предрассудок о богатстве и славе Англии, приписывает это богатство только английскому правительству и аристократии и приходит к выводу, что „английская нация беднее всех других наций и подвержена превращениям более, чем какая либо другая из них“ (144).

Немецкие философы-идеалисты, считая противоречивость одним из основных законов диалектики, одновременно полагали, что эти противоречия могут быть сглажены, затушеваны. Гегелю было присуще примиренческое отношение к действительности. Так, например, он всячески пытался сгладить глубокие противоречия в жизни

современной ему феодально-капиталистической Германии. По Гегелю кульминационной точкой развития социально-политического строя Германии является прусская конституционная монархия, в которой гармонично сочетаются интересы феодалов и буржуазии.

Налбандян не отличался подобной деликатностью в отношении действительности. От его зоркого взгляда не ускользнул антагонистический характер капиталистического общества, и с еще большей энергией, чем нищета и внутренние противоречия Англии, он раскрывает вопиющие противоречия между словом и делом последней в колониальной политике. Страницы книги „Земледелие как верный путь“, в которых Налбандян разоблачает капиталистические державы в бессовестной эксплуатации колониальных народов,—одни из самых ярких и блестящих страниц его публицистики. Они полны благородного гнева, сочувствия угнетенным, убийственной иронии в отношении угнетателей.

Захватчики и завоеватели, говорит Налбандян, оперируют ложными фактами, с которыми здравый человеческий рассудок никак не может примириться. Что же это за факты? Якобы сильные государства овладевают слабыми народами во имя одной единственной цели—их цивилизации. Не личными интересами руководствуются они—боже упаси!—а благом этих народов, порабащают их во имя человеколюбия, во имя привлечения их к цивилизации...

Имея в виду Англию, Австрию, Пруссию, царскую Россию, Налбандян заявляет: все они, как силой приставленные учителя, распространяют цивилизацию, и никто из них не спрашивает о желании ученика—хочется ему учиться или нет. Однако, не надо забывать о разнице между их цивилизацией и той, какую имеем в виду мы. Ее школой являются тюрьмы, воспитателями—полицейский и жандарм, книгой жизни—цепи, ссылка—местом морального очищения, виселица и позорный столб—„врата... ведущие в жизнь“. Да здравствует кошка, которая ловит мышь, чтобы сожрать ее!

Налбандян беспощадно бичует капиталистический мир, раскрывает его ханженство и бессовестную ложь, его шантаж, его разнузданную эксплуатацию народа, политический произвол.

Беспощадно обрушиваясь на капиталистические государства, вскрывая их социально-политические противоречия, Налбандян разрешает эти противоречия в утопическом плане, заявляя, что только земледелие является верным путем. Но эта утопичность—результат не смягчения противоречий действительности, их сглаживания, а результат того, что Налбандян жил и работал в России, в стране отсталой в экономическом отношении, стране, где еще не было рабочего класса, где отсутствовали еще объективные предпосылки для разработки подлинной науки об обществе и его преобразовании. Такой наукой явилось учение Маркса и Энгельса.

Налбандян раскрывает метафизичность и догматичность идеалистической системы Гегеля, ее реакционный политический идеал,

выразившийся в обожествлении прусского деспотически-монархического государства, бичует пруссачество, смеется над ничтожеством и пошлостью немецкого бюргера, мозги которого отупели—по его же словам—под влиянием пивных паров. „Германская нация не является великой нацией,—говорит Налбандян,—и то, что она мала и неспособна быть великою, уже ясно и отчетливо проявляется в ее политической жизни. Узко эгоистические правительства страны, состоящей из 30 слишком частей, которые лишь благодаря великой французской революции хоть несколько обрели человеческий облик, затемняют светлый свод, образованный для нее Гете, Шиллером, Лютером. Сосредоточенные в себя, ничтожные и миниатюрные государства глубоко накладывают свою печать на своих подданных... Находясь фактически в таком жалком состоянии, германский дух искал себе выхода в бесплодных идеалах—и до сегодняшнего дня нет недостатка в болтливых философах, которые впустую проповедуют идею, не будучи в состоянии когда-либо воплотить в жизнь для себя эту прелестную идею“ (230).

Мировоззрение Налбандяна вырабатывалось и росло в тесной связи с развитием русской общественной мысли 50—60-ых годов. И неудивительно, что гневно-саркастические слова Налбандяна о Германии, ее государственном строе, ничтожестве ее политической жизни, филистерстве немцев,—все это напоминает высказывания классиков русской литературы и философии на ту же тему.

„Судьбы Германии жалки и пошлы в XVIII веке—говорит А. И. Герцен.—Ее аристократы все-таки мещане... нет грации, нет благородства... Безнравственность в Германии доходила до высшего предела, ни малейшей тени человеческого достоинства. Крепости набиты арестантами, гонения за религию, гонения за стихи, гонения за дерзкое слово о министре—все это тихо, без шума,—и народ ничего... В Германии нет ни одного луча света, там один либерал Фридрих II, самодержец Пруссии“. Вспомним приведенные несколько выше слова Налбандяна о деспотизме Фридриха, о том, что там, где господствуют фридрихи, „человеческое общество низводится до состояния несовершеннолетних сирот“.

В своих статьях о Г. Гейне Д. И. Писарев так характеризует с одной стороны великого поэта, с другой—гнусную немецкую действительность: „В области умственной деятельности Германии Гейне осмеивает академическую рутину, бесплодную эрудицию, мертвенность мысли, скрывающуюся под обилием выписок, ссылок и цитат... Гейне, как чрезвычайно умный и крайне раздражительный человек, не мог ужиться среди той атмосферы тупоумия, скучной серьезности, бездарности и узкого тщеславия, которая душила его в Германии*... „Боевая храбрость Гейне достаточно известна. Его сарказмы, направленные против традиционных доктрин, против политического шарлатанства, против национальных предрассудков, против ученого педантизма, против всех бесчисленных проявлений общественной и

специально немецкой глупости, его сарказмы составляют, без сомнения, самую яркую и единственную бессмертную сторону его поэзии. Не будь у него этих сарказмов, он замешался бы в толпу немецких поэтов, писавших гладкие стихи, и мы знали бы о нем столько же, сколько знаем, например, о каком-нибудь Людвиге Уланде, или Леопольде Шефере, или Эммануэле Гейбеле".

Обращаясь к немцам, Салтыков-Щедрин говорит: "... Ваша наука все-таки второго сорта, ваше искусство—тоже, а ваши учреждения—и подавно. Только зависть и жадность у вас первого сорта, и так как вы эту жадность произвольно смешали с правом, то и думаете, что вам предстоит слопать мир. Вот почему вас везде ненавидят, не только у нас, но именно везде. Вы подъезжаете с наукой, а всякому думается, что вы затем пришли, чтобы науку прекратить; вы указываете на ваши свободные учреждения, а всякий убежден, что при одном вашем появлении должна умереть всякая мысль о свободе". (Цитировано по брошюре: „Русские писатели о пруссачестве“, Москва, 1943). Не трудно заметить, как эти выступления передовых людей русского общества совпадают с разоблачениями со стороны Налбандяна гегелевского возвеличивания прусской „свободы“ и „научообразного просвещения“.

Критикуя Гегеля, находя связь между отсталой и реакционной политической действительностью Германии и воззрениями философа-идеалиста, Налбандян отнюдь не намерен отрицать передовое в учении Гегеля, за мистификацией, за нагроможденными друг на друга—как он выражается—параграфами, категориями и определениями не узреть здорового ядра. Все обаяние Налбандяна как философа в том и заключается, что он, вместе с классиками русской философской мысли, отбрасывая метафизику Гегеля, стремился усвоить его диалектический метод. Не называя имени, Налбандян, сидя, одновременно с Чернышевским, в казематах Петропавловской крепости, повторяет его слова: „Мы не принадлежим к числу учеников Гегеля или Шеллинга, но справедливость заставляет признаться, что системы обоих оказали большие услуги науке раскрытием общих форм, по которым движется прогресс развития“. („Гегель и его время“, стр. 243; см. также Н. Г. Чернышевский, „Критика философских предубеждений против общинного владения“, стр. 169—170, в избранных философских сочинениях Н. Г. Чернышевского, Москва, 1934).

У Налбандяна имеются попытки применения принципа развития к общественной жизни, о чем немецкие диалектики-идеалисты не помышляли, ибо были консерваторами, не стремились ни к какому изменению общественных отношений, застыли в благоговейном созерцании прелестей прусского бюрократически-полицейского строя. Налбандян—как мы видели—начинал постигать классовые противоречия современного ему общества и всей своей страстной душой ненавидел реакцию. Эта ненависть проявлялась также в его резкой критике реакционных сторон немецких идеалистических систем. Налбандян, на-

конек, попытался применить материализм в области литературной критики, в области эстетики. наилучшим памятником чего является его замечательная статья о романе П. Прошяна „Сос и Вардистер“. И в этом Налбандян родной брат Белинского, Чернышевского и Добролюбова, впервые в истории домарксовской мысли осветивших проблемы искусства с материалистической точки зрения.

Все софистическое, все абстрактное, туманное и причудливое в метафизической системе Гегеля—все это, по мнению Налбандяна, не только ни на йоту не помогает улучшению жизни, а, наоборот, препятствует этому улучшению. Смысл же философии именно в этом улучшении. „Ты хочешь сделаться философом для своей нации?—спрашивает Налбандян:—так, значит,—отвечает он,—изучай жизнь своей нации, изучай источники ее понятий, ее нужды. Улучшение этой жизни является наиправильной и правдивой философией“ (223).

Налбандян усвоил материализм Фейербаха, но и это усвоение у него отнюдь не механического порядка. Он стремился применить философию к общественной практике. „Человек не имеет пристанища, не имеет хлеба, не имеет одежды, а природа требует своего—говорит он,—если ты в состоянии найти такие благоразумные и естественные пути, такие человеколюбивые средства, чтобы человек мог найти себе кров, иметь хлеб, покрыть свою наготу, воздать должное природе—вот в этих путях и средствах заключается сущность философии“ (224).

На следующей странице Налбандян говорит то же самое, раскрывая свою мысль с новой стороны. „Изучай историю,—говорит он,—изучай человека, вникни в суть общества, законов, явлений человеческой жизни, найди нужды, познай средства удовлетворения этих нужд,—и ты превратишься в философа, не нуждаясь в том, чтобы принять ту или иную готовую систему“ (225).

Для Налбандяна философия—нечто живое и действенное, нужное и необходимое для революционного воздействия на общество. Он не мыслит философию вне борьбы против отживших форм общественной жизни, вне борьбы за новые формы социальных взаимоотношений. О Налбандяне можно сказать, что он не только стремился объяснить мир, но также показать пути его изменения. Конечно, это он не сумел сделать, потому что ему не были известны законы общественного развития. Конечно, его материализм остался недостроенным. Однако ж, своей страстной проповедью освободительных идей и ненавистью к отжившему и реакционному, своей благородной любовью к угнетенному народу, своей непримиримой враждой к царизму и разоблачением мразкобесия церкви, раскрытием язв капиталистического общества, своей последовательной борьбой против всякой половинчатости в политике и оппортунизма, своей глубокой убежденностью в необходимости коренного преобразования общественных отношений и непоколебимой верой в поступательный ход человеческого прогресса—всеми этими своими качествами Налбандян

принадлежит к той категории мыслителей-революционеров 60-ых годов, за которыми великая заслуга расчистки пути для распространения и торжества марксистских идей в российской многонациональной действительности. В отношении Налбандяна смело можно применить слова Ленина о Герцене, Белинском и Чернышевском (IV, 381), как предшественниках русской социалдемократии.

Налбандян — крупнейший армянский революционер и демократ 60-ых годов. Мы с гордостью можем сказать, что то идейное воспитание, которое в свое время дал Налбандян передовому поколению родного своего народа, это идейное воспитание не только не пропало даром, но, напротив, дало свои богатейшие всходы, выразившиеся в наши грозные дни борьбы с германским фашизмом в высоком героическом поведении армянского народа, его отважных сынов.